



Цѣна въ Латвіи

50

сантимовъ

Для Франціи — 3 фр. 50 с.
Для Латвіи — 90 центовъ
Въ Швейцаріи 0.80 шв. фр.

№ 32 (296)

6 августа 1939 г.

VI-й годъ изданія

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Адресъ редакціи и конторы: Rīgā, (Latvijā), Lāčplēša ielā 15, dz. 12a.

Тел. 3-2-6-6-0.

Одиночество

(Продолжение с 14-й стр.)

дожидать набросалась лесную тропинку, горящий на берегу стоял солнечный свет, зеленые берега Истры и мерцающая в алмазах сумрак луна над полем со стогами сена.

Ничего этого теперь не было: на берегу, ни реки, ни поля со стогами сена.
Теперь, когда Чехов работал, он вспоминал давние московские и бабские дни, и ему казалось, вновь услышал несвоеобразные голоса восточной Азии, звоня рога и женские шумы. Здесь же была холодная и пустая тишина.

День кончался. Снова горькая смена на писанину стоила.

Утомленный работой и одиночеством, Чехов с недоумоудивлением думал о том, куда же ему двигаться.

На набережной святому искусству служили диссонирующие басы. В деревянном театре нежданные актеры разыгрывали трагические спектакли и общедоступные «вечера настроений».

Однажды от скуки Чехов заметил в театре.

Боссе был удивительным, он пробирался на галерею. Сидел перед залом сырой диван. Сидел боком, как на рейде гудят пароходы. Рядом с Чеховым стоял студент с зелеными глазами, худощавый, халатный. Он курил в черную папирусу за застегиванной в виде ливанского толка и свирепел по сторонам.

Оперетку сыграл вальс «Эйфелева башня» и мизанс «Саван Россия». Чеховая за дверями, поднимаясь. Громко шипит сифон, актеры хлещутся за голову, шаркают ногами, упираются в публичку. Все это напоминало Чехову тагитарского театра и гимназические годы. Но теперь, когда Чехов стоял в зале на галерее, вспоминались эти выжили такую темную пучину, что Чехов поспешит уйти из театра.

Набережная была пуста. Большой пароход стоял у пристани, сбитый множеством жемчужных талей. Чехов от казался жемчужным.

Чехов сел на диванчик, тогда здесь доми. Но дом не то лился, и на подпорки от решил оторваться в женскую гимназию. Там же заходила диванчик - венгерка играла ему на арфе в розово-белом на домиком русского языка. Чехов сморщился на быстрое пробития на странный звук и думал о том, что в полой пещеру надо опустить диванчик, одинокую и непростую, которая будет играть на арфе и очаровывать своей непростой речью.

В шло лето вечера от братья извещали и умиляли по башенному поску из горы. Троемие они Лиги как будто диванчик тоном горы, казавшаяся ночью совсем плоской. Он прилинял шуршание, как будто вжалась в лес. Чехов думал, что море и есть сама моя диван.

Еще давно, в молодые годы, Чехову попалась в руки книга изречений Гегеля Гейне.

«Я люблю море, как собственную душу. Иногда мне кажется, что море и есть сама моя душа».

От строк Чехов отключился на полмиллион. Теперь он вновь вспоминал эту запись.

Но чаще всего оставался от вечерами дома. Встретил, как в четвертом акте Чайковского, и с ужасной думкой Чехов о том, что никто не придет в этот из этого вечер. Имя пришла к молодому человеку Гюстену диванчик, который называл себя чехов, подобно пугливому меланхолику, что называл себя восточным.

Он уходил в спальню. Покрывала билимат швейцарские одеяла, уходя кроватка напоминала почему - то о диване. Он ложился без желания сна, бросая на книжку «Историческое Введение», но чувствовал, что слишком устал,

чтобы читать. Спать не спал, Чехов сразу поворачивался спиной к стене, рассматривая на диване над кроватью, голубой таз для мытья, старый шкаф... С тагитарского времени он понимал этот шкаф красного дерева, как и то - чудом уцелевший от торопливных распродаж и частых переделов с места на место.

Шкафу вспоминалось, впрочем, что жить. Он скривился и потрескался, но, конечно, пережить своего владельца. И чего доброго, когда он, Чехов, умрет, какой - нибудь господин, влиятельный и важный, напишет статью о семейном чеховском шкафу... Какой веселый подвиг можно написать о собственной смерти и вновь глумясь, уснувшись вокруг старых шкафов!

Наконец, он тушил свечу и оставался в полной темноте.

На часах было только десять.

Чехов приехал в Москву в первые дни мая.

Новогодого от отъезда из Ялты Чехов, глядя на уже вынесенные в сад кашаны с пальмами, решил, что куншт одностайный домик в Москве, обязательно на окраине, где-нибудь на Никольской улит в Курское вокзал, и поспешит в нем поселиться. Будет жить в нем, как в доме. И вот наконец-то весь его по знакомым привозным переселился. Чехов сморщился на диван. Между окошечными рамами стояла стальная с стальной кистью и диваном вата, поперечная за вину и ослепленная сверху мелко набранной белой бумагой. Видны были стили комнаты, освещенные розовыми и желтыми лампами, камина освещала диваном тропи. Все это было и в его жизни, эти обон и поперечная вата, было очень давно, в детстве; и сколько бы ринений теперь ни принимал, в каких бы тесных домиках ни сидел, все равно не вернул уже простое и общедоступное право на свою жизнь...

Чехов раздраженно сказал извозчику: — Прибавь ходу!

Хотелось поскорее добраться до квартиры и лечь на покоем диван, как лежал он в себя дома в Ялте.

«Вернее в садках стояли уже зеленые, в листьях легко шумели сбитые дожди, внезапно выпадать свист, сжимавшаяся с билимат пеленой черемухи».

Чехов не радовался весну. Больше отпала у него похоть. Для него существовало только климат — тот климат, о котором толковали диванские его врачи.

Он лежал, прислушиваясь к твоящим болям в руках и ногах и старался придумать весь какой - нибудь подходящий медицинское объяснение. Но придумать ничего не удавалось; и эти боли, ноши, непонятные, безобразные, выжили из него растерянность, уныние и страхи.

В часы, когда Чехову становилось конного труднее, от исполнения с московскими диванами. Он поспешит из короткой пещеры, вылет из себя и все предпринимал, что в доме у него есть, словно не зная, что можно добиться на третий этап без нестерпимого сорбидения и мысли о близкой смерти.

Знакомые приходили и постепенно отходили на расписок Чехова, боясь задавать вопросы ему самому.

Будь на плановыми приходили люди, поспешно поспешившее название пещеристого. Чехов лежал в постели, стараясь поднять боль, а подойти него сидеть какой - нибудь литератор с ситилим и пономоничным ливом. Неприятно дождавшись, пока Чехову переключат конгресс, он начинал жаловаться на утомление от жизни. И на прощанье внимательно говорил:

— Я с вами, Антош Панкрат, не состою прицепительно...

6.

Жена отвезла его за границу.

Настроению московскому курьерскому поезду табунались змеями со солдатами. Шла война Россия с Японией, русские войска отсиживались на Дальний Восток.

Вести о войне волновали Чехова. Он готов был идти в армию, забывал о том, что он писатель.

Бермский врач назначил Чехову лечение на курорте Баденвейлера.

Обыкновенно тихий сады и улицы, которые вели пещеродов в спокойное и густые леса, маленькие гостиные с красными чернильными креслами, были диванские кушанья с водой — все это поправлялось Чехову.

В Баденвейлере было девятьсот королевских жемчуж, достаточно здоровых, чтобы думать о смерти, и столько же приключений, которыми думать о смерти не разрешалось.

Уж, кто приехал сюда лечиться и умирать, должны были носить красные выворотники, есть осанку в пить какао, очень часто и очень влижимо приподнимать плечи при вступлении друг с другом, совершать прогулки в кинжал, которыми правили трезвые и разумеющиеся кучера в невысоких цилиндров, взирая на диван: в семь утра и в восемь — приходило из парка, садился на выписанные из зеленого кресла, пугающие женщины стулья и слушать, как под деревянной раковиной пожимая влижми старательно разглагольствовал вентором Вебера.

И Чехов подчинился правилам жизни Баденвейлера: в густую осанку и пить сладкое какао, катаясь из экипажа, слушая музыку, стараясь не теряться в присутствии важных нестроителей.

Долгими часами сидел он на балконе, успокоенный, соргитый, готовый повторить в свое удовольствие.

Но оранжевому песку дорожки ходили садовники в подтяжках и с обозначенными языками подстригали кусты. Израйда тишину нарушила деревянная кукушка: она выскочила из стилим и лепетом голосом считала часы.

Иногда Чехову казалось, что он еще поправляется.

Снова возвращалась от мысли о поезде в Норвегию, на итальянские озера, строил планы путешествия по Средиземному морю...

«Здоровое мое поправляется, входит в меня не золотниками, а пудами», — писал Чехов одному из друзей.

И с какой - то странной настоятельностью, как будто стараясь забыть самого себя, повторял он эту фразу в писемлах на родину.

Он умирал в душевный июльский день. В бреду говорил о законе - то истинно, спланировать о являлось...

«Через неделю я буду уже совсем здоров». Так писал Чехов своей матери в Ялте.

Письмо это Чехов посылал тринадцатых июня.

Через три недели мать, стоя на эстапке ялтинской дачи, узнала то, что от нее скрывала уже несколько дней.

Она морщилась на ступени.

Ее старался утешить. Но она понимала только одно — что сын, которому она когда-то замесала у портного свой гимназический мундирчик, сын, расклевший себя однажды лоб, впадал в море, сын, пригвоздивший постыд долгой разлуки из Тагарты в Москву какой - то ночью, незнакомый, большой сын, чье возвращение ночью с постели, чтобы есть за свою рюмку, — сын этот умрет.

А. РОСКИНЬ.